

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

★

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

★

ГОД ИЗДАНИЯ
XXXVI

4

КНИГА
—
АПРЕЛЬ
1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В СИБИРИ, ПО МЕСТАМ ДОСТОЕВСКОГО

Шофер, возивший меня к дому Достоевского в Кузнецке и по заводам города, предложил: «Поднимемся на гору и посмотрим сверху на комбинат*. Я послушался и не обманулся. До сих пор благодарен я ему за добрый совет: лучше всякого экскурсовода он понял, что калейдоскоп разнообразных впечатлений от молодого индустриального центра нуждается в определенной точке, чтобы уложиться в полную глубину смысла общую картину.

Готов повторить его совет **каждому**, приехавшему в первый раз на Новокузнецкий металлургический комбинат: с горы разворачивается реализованный в камне и металле замысел, который многим не таким уж глупым наблюдателям со стороны казался беспочвенным миражем, водой, мерещась жаждущему путнику в пустыне, с горы разворачивается вид на воплощенную **мечту**:

Всегда было известно, что край богат металлом и углем. Местное население еще до прихода русских первобытными способами плавило для себя железо, что и дало основание для названия «земля Кузнецкая».

Первые проекты организации завода на земле Кузнецкой восходят к 1828 году. В 1916 году была предпринята попытка начать строительство по соседству с Кузнецком, в **Осиновке**, но она была слишком непосильна для издыхающей империи. Недолговечное Временное правительство санкционировало образование «Кузнецкого каменноугольного и металлургического общества» («Копикуз») с грандиозными прожектерскими планами, сулившими акционерам мультимиллионы. Но «Копикуз» оказался столь же эфемерным, как и само Временное правительство.

Знаменитый **Курако** все глаза проглядел в ожидании, когда же русские люди

воззовут к жизни несметные богатства, таящиеся в недрах края. Он так и умер, не войдя в обетованную землю.

Чтобы осуществить великий замысел, нужна была Октябрьская победа, приход совершенно новых и небывалых раньше хозяев.

В 1926 году на основе решений XIV партконференции было создано бюро по проектированию Тельбесского, как его первоначально называли, завода. Тогда же была выбрана и площадка вне черты старого городского поселения, на необжитой местности, у подножия невысокой, но довольно крутой горы. В январе 1929 года Совет труда и обороны вынес решение о строительстве и отпустил первые четыре миллиона рублей. Первый поезд с лесоматериалами подошел к наслех сколоченному вокзалу — жалкому сараю с надписью «Кузстрой» — в октябре 1929 года. Пионеры стройки поселились в палатках и халупах, вряд ли понастоящему защищавших от суровых сибирских ветров и непогод. Первыми инструментами были вековечные кайло, кувалда и лопата. Работали в зиму, в снег, в сорокаградусный мороз, рубили землю с помощью металлических клиньев. Комсомолы выходили на субботники с лозунгом на развевающемся красном полотнище: «Пламенная напористость и организованность Ленинского комсомола победят все препятствия».

И вот взяты рубежи, одержана победа: 1 мая 1930 года под пение «Интернационала» замурован в фундамент акт о закладке первой дымны, а 3 апреля 1932 года страна получила первый кузнецкий чугун.

Люди моего поколения помнят, с каким напряженным вниманием, с каким замиранием сердца разворачивали они утром газету, чтобы узнать, как идут дела на строительстве Кузнецка. По всем городам разносился призыв: «Каждый рабочий должен помогать строить гиганты сибирского края», — повсеместно шли

субботники, сбор с которых поступал в «кошелек Кузнецкстроя». Страна слала сюда, сурово обрывая малoverов, все, что могла: рабочих, инженеров, организаторов, сэкономленные рубли, дефицитные материалы, отказываясь от удовлетворения насущных нужд, чтобы сделать скачок в будущее.

Кузнецк — это было волшебное слово. Оно сулило лучший, более светлый день молодой социалистической республике.

Очеркисты, поэты, романисты устремились в Кузнецк за вдохновением, за сюжетами, за образами, за идеями — и сами становились в строй труженников, воздвигавших небывалое по мощности предприятия.

Кузнецкстрой переключал в себя накал и воодушевление гражданской войны, ибо в самом деле великое сражение продолжалось, и проигрыш здесь свед бы на нет выигрыш на полях «гражданки». Поражение в битве за индустриализацию означало бы ликвидацию завоеваний Октября и торжество контрреволюции со всеми ее ужасными последствиями,

И вот с горы, как величественный памятник победы, как мощный материализованный сгусток миллионов целенаправленных воль, открывается обширный строй разумно связанных между собой промышленных сооружений — серых, черных, дымно-красных. Четырехугольные здания, башни, эстакады, батареи труб — это расположенные в строго рассчитанном порядке коксовый завод, домы, мартены, прокатный цех, электростанция. Комбинат работает, от него поднимаются немолчные гулы. В погоду и непогоду, в вёдро и в проливной дождь в нем пылают огни, взвихриваются метели искр, несутся ввысь золотые и багровые отсветы; жидкий металл, укрощаемый опытной и властной рабочей рукой, покорно льется в ковши и изложницы,

* Кузнецкий металл внес свой неисчислимый вклад в промышленный расцвет страны, в подъем сельского хозяйства, в победу над злым и беспощадным фашистским врагом, в формирование советского человека. Радиус его воздействия простирается и за пределы Советского Союза. В Музее Кузнецкого металлургического комбината хранится следующий адрес: «Сердечно благодарим вас за подготовку практикантов нашего комбината и за заботу о них. От Аньшаньского металлургического комбината».

За заводом, впереди, налево и направо, по почти замыкающемуся кругу открывается панорама полумиллионного города, обязанного своим происхождением комбинату: кварталы многоэтажных домов, коттеджи, поселки, фабричные здания, индустриальные сооружения, терриконы (город обтекает оказавшиеся в его черте шахты), зелень, река *Томь* и убегающая среди холмов дорога в старый Кузнецк.

Из всех мест, связанных с именем До-

стоевского в Сибири, молодой, строящейся, чувство истории с особой силой охватывает наблюдателя именно в Кузнецке, Тут все *перемены* произошли на глазах одного поколения и хранятся в памяти еще живущих отцов. Всюду в других местах слова «старые дома» означают: построенные до революции, унаследованные Советской властью от старого строя. В Кузнецке «старые дома» — это дома, построенные до войны, «новые дома» — построенные после победы над Гитлером.

Несмотря на грандиозность достигнутых результатов, тут все еще в рождении, все не улеглось.

Самые наименования хранят здесь на себе печать исторического движения: старый город, превратившийся в район Сталинска, как именуется город в целом, сохранил имя Кузнецка, а железнодорожная станция называется Новокузнецк, как первоначально окрещено было новое поселение, завод и гаггород. Оттого-то на административных картах город обозначен именем Сталинска, а на железнодорожных — Новокузнецка.

В Кузнецке теперь тоже *воздвигнуты* современные предприятия и строятся еще новые, растут квартал за кварталом новые жилища — в нем тот же семимильный разбег. Но здесь сохранился почти в нетронутом виде старый городок. Только не бог весть какой собор перестроен в хлебозавод, а немощные улицы и деревянные дома по внешнему виду остались такими же, какими были в старину.

Дом, в котором Достоевский жил в 1857 году, перешел в наше столетие целехоньким из девятнадцатого. Одноэтажное деревянное здание в пять окон по фасаду, с тесовой крышей, с двумя печными трубами, со скамеечкой у забора — оно было, вероятно, одним из лучших домов в городе; недаром выстояло целый век, И улица также была такой, на которой прилично было жить чиновнику: одним своим концом она выходила к собору,

Улица носит теперь имя великого писателя. И вид ее действительно легко вызывает в воображении все то, что представлял собой городок во времена Достоевского. Немощная, она покрыта весной и осенью черной грязью. Зимой ее засыпают сугробы, летом над нею поднимается густая пыль. Я был на ней в дурную погоду, в сылять, она была безлюдна, не было на ней даже детей — школьников, которые в таких местах формой и книжками лучше, чем что-либо другое, напоминают о советской эре. Но вряд ли и в хорошую погоду она радует своим оживлением, и, тем менее, радовала она Достоевского. Сто лет назад прохожих на ней было еще меньше, луж, свиней и кур еще больше, и ходить-то по ней некуда было, кроме как в церковь.

Недаром единственное, что мог сказать Достоевский о Кузнецке, — это что жить в нем «уж а с н о».

Дом Достоевского да здание неоригинального, безвкусного бывшего собора, с

одной стороны, и металлургический комбинат с обступившим его многоэтажным городом — с другой. — это как бы спроецированное В одну плоскость различие времен. Мы видим наглядно концы большого хронологического отрезка. Как бы на «машине времени» мы в течение двух десятков минут можем переправиться из одного века в другой. Отправляясь на автомобиле от проспекта Металлургов на улицу Достоевского, мы переносимся из середины двадцатого столетия в середину девятнадцатого, и, наоборот, возвращаясь из дома № 40, из дома Достоевского, к Металлургическому комбинату, мы совершаем как бы путь в будущее.

В обширном и убедительном материальном символе мы видим, что такое прогресс, всем существом ощущаем поступательное движение истории.

Между домом, где жил Достоевский, и Металлургическим комбинатом существует преемственная диалектическая связь, создаваемая развитием; надо только помнить, что обе эти «точки» выросли не изолированно, что они органически влиты в процесс истории Сибири, всей России, а известным образом и всего мира. Непрерывная эта цепь проходила и через Кузнецк, в бытии которого явно выделяются звенья, имеющие общее значение. Сто лет тому назад в Кузнецке было полторы тысячи жителей, но в затерянном этом полуселе-полугороде отбывал в шестидесятых годах ссылку Берви-Флеровский, книгу которого «Положение рабочего класса в России», сожженную цензурой, распространяемую нелегально, Маркс сравнивал с энгельсовским «Положением рабочего класса в Англии». Кузнецку посвятил ряд рассказов народнический беллетрист Наумов. В Кузнецке доживал свои годы пионер российского рабочего движения Обнорский, участник «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (в городе есть улица имени Обнорского). В Кузнецке жили родители Куйбышева, сохранился дом, где Валериан бывал и откуда он налаживал пропагандистскую работу среди кузнецких рабочих.

Скромно, тихо, чуть приметно мерцала звезда Кузнецка среди созвездия более значительных городов России, но и Кузнецк среди них не Иван непомнящий, он имел свою биографию, свои ступени восхождения, свой путь к теперешней славе.

Конечно, историю легче ощущать, обращаясь от сегодняшнего дня к прошлому. Правда, и эта история не дается ленивым и нелюбопытным. Разговорился я однажды в столовой с учительницей. Прибыла она в Кузнецк из Белоруссии и, естественно, тянулась памятью к оставленным родным местам и людям. Не обжилась она на новом месте, не интересовалась им. Ей казалось, что в Кузнецке никогда и ничего не происходило, что в истории его все началось со строительства комбината и все исчерпывается

производством чугуна, стали да теперь еще алюминия. Когда я рассказал, что Достоевский бывал в Кузнецке, что он венчался в Кузнецке, что сохранился дом, где он жил, что даже мемориальная доска прибита к нему, вилка застыла у нее в руке, она от удивления перестала есть. Никак не могла она увязать биографию всемирно известного писателя с таким вот новым, с таким вот «деловым» современным Кузнецком. А меж тем история юрода действительно увязывается с биографией Федора Михайловича Достоевского, а через нее и с историей, имеющей столь славное прошлое, столь поэтичной и вдохновенной русской литературы.

Древний Платон, предвзяв консерваторов всех времен, утверждал: «Мало чего следует так бояться, как малейших видоизменений существующего порядка вещей». Умение смотреть из сегодняшнего дня назад, в глубь времен, опровергает Платона. Это очень важное умение, оно учит постижению закономерностей общественного развития, оно объясняет необходимость вытеснения одряхлевшей и закончившейся жизни юной и свежей, оно приучает к переменам.

Но все же историзм мышления и ЧУВСТВ ОТ СЕГОДНЯ ВСПЯТЬ — **неполноценный историзм**. Он носит больше образовательный, чем творческий, характер. Подлинно творческий характер историзм приобретает тогда, когда он обращен от сегодняшнего дня к будущему, когда он **перспективен**. Классическая русская литература обладала этой перспективностью, поэтому она и сыграла такую огромную роль в развитии русского общественного самосознания и в подготовке русской революции.

Надо только уточнить, о чем идет речь. Историзм, обращенный к будущему, не обязательно должен выразиться в создании картин, предугадывающих **конкретные формы** грядущего. Жизнь настолько разнообразна, неожиданна, «хитра», столько в ней невыявленных возможностей и пластичности, что почти невозможно предугадать, в какие события, в какие установления и в какие сроки она выльется. «Усчитывали» подробности будущего утопические романисты, но и для лучших из них важнее было не наглядное изображение того, что должно наступить в более или менее отдаленные времена, а **тенденция**, дух ожидаемых и желаемых перемен, **доверие к будущему**.

В жизни и творчестве больших художников преломляются два диалектически связанных между собой процесса. Они сыны своей эпохи и чем больше вбирают в себя от своего времени, от его достижений, от его болей, от его противоречий и борьбы, тем значительней и прочней оказывается оставленное ими наследство. Но настоящий художник еще **крылат** или по крайней мере хочет быть крылатым: он не может УДОЕ; летвориться сушим, особенно

тагонистическим и социально **несправед**ливым, он ищет лучшего, он вдохновляется **идеалом**, он стремится осветить путь к действительности еще не рожденной, которой чревато настоящее, но о которой и не подозревает человек, слишком глубоко погруженный в быденные мелочи, и которую не всегда дано угадать даже и большому таланту.

Недовольство достигнутым, святое беспокойство, ревность о будущем пронизывают всякое большое искусство. Гармоничный и **всезывывчивый** человек Пушкина — это не портрет его современника, а идеал, до сих пор сохраняющий для нас свою привлекательность.

Чернышевский верно отразил дух крылатого реализма, когда писал о будущем: «Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего».

В своем собственном творчестве Чернышевский делал из правильных художественно-методологических посылок утопически-романтические выводы: он пытался предвосхитить не только **дух** будущего, тенденцию развития, имеющий осуществиться идеал, но и нарисовать картины будущего во всех подробностях и деталях.

Белинский предвидел возможность такой линии в искусстве и считал ее нежелательной. Когда автор заменяет существующую жизнь утопией, доказывал он, то он заставляет искусство «изображать мир, существующий только в его воображении». И тогда он «вместе с характерами возможными, с лицами всем знакомыми» вводит «характеры фантастические, лица небывалые, роман у него смешивается со сказкою, натуральное заслоняется неестественным, поэзия смешивается с риторикою».

Белинский был чрезвычайно строг, последователен и даже нетерпим в своих убеждениях и тогда, когда дело касалось художественных принципов. Но искусство всегда искало многообразия форм, и возражать против романтическо-утопической ветви его значило бы возражать против такого важного явления, **Как «Что делать?»**

Как вносить элемент будущего в искусство, как изображать будущее в произведениях, создаваемых **сего** это дело эстетических убеждений и такта художника.

Если искусство имеет общественную, гуманистическую, **нравственную** цель, то оно во всех случаях может проникнуть духом прогрессивного движения; оно способно указать на перспективу, разрешающую **сегодняшние** противоречия. Это очень хорошо понимал Чехов. Он писал: «Вспомните, что писатели,

которых мы называем вечными или просто хорошими и которые **пьянят** нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение». Из всех известных ему художественных направлений Чехов считал реализм самым высоким, самым соответствующим и природе и назначению искусства. «Лучшие из них **реальны**, — заканчивал он поэтому свое **рассуждение**, — пишут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая их строчка проникнута, как соком, сознанием цели, вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, которая должна быть, и это пленяет вас».

Достоевский первоначально не представлял исключения из общего правила. Создавая образ **Девушкина** или даже Голядкина, он рисовал жизнь такую, какая она есть, потому что хотел вызвать в душах читателей видение жизни такой, какой она должна быть и какой ее должно было сделать будущее, быть может, и не очень отдаленное. Вместе с Белинским смеялся он над писателями, видевшими «русскую национальность», «в мертвой букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминающей древнюю Русь, наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей родной старине».

В своих упованиях на будущее Достоевский отталкивался от Петровой реформы. Символом и залогом прогресса был для него основанный Петром Петербург. «Петербург и глава и сердце **Россия**, — продолжал он, — до сих пор Петербург в пыли и мусоре, он еще создается, делается, будущее его еще в идее; но идея эта воплощается, растет, укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом».

Каторжный приговор перебросил Достоевского как бы по мановению волшебного жезла из Петербурга, столицы, интеллектуального и морального центра тогдашней России, связывавшего ее со всевропейским движением мысли и общечеловечности, в далекую и глухую Сибирь.

2

В сибирском периоде биографии Достоевского таятся ключи для объяснения многих особенностей его дальнейшего развития и творчества с их разительными противоречиями, и Сибирь же дает, быть может, самый наглядный ответ на вопрос о том, как же завершилась действительная история мучительные искания, нередко загонявшие писателя в тупик.

(Достоевский жил в Сибири не только в Кузнецке, В Кузнецк его привела

любовь к жене спившегося чиновника Исаева. После смерти Исаева Достоевский сделал вдове предложение, которое было принято. Он поехал к ней в Кузнецк, чтобы оформить свой брак и увести ее. Главными местами его пребывания в Сибири были Омск и Семипалатинск. В Омске он отбывал каторгу (1850—1854 гг.), в Семипалатинске — принудительную военную службу (1854—1859 гг.).

В Семипалатинск-то он и привез свою жену, волнуемый всевозможными заботами: как освободиться из сибирского гетто, как устроить свою будущую судьбу.

Будущее, о котором хлопотал Достоевский, было житейское будущее и — что очень важно — будущее его писательского призвания. В тогдашней Сибири гений Достоевского был бы подавлен и не принес бы своих зрелых плодов. Чтобы реализовать тающиеся в нем возможности, Достоевскому необходимо было во что бы то ни стало и возможно скорее вернуться в Петербург.

Это будущее Достоевский стремился приблизить с необычайной энергией и настойчивостью.

Но в будущее в смысле историческом Достоевский перестал верить. Умственным взором своим он обернулся к прошлому.

Как же все это произошло?

Причины, вызвавшие кризис в мирозерцании Достоевского, носили общественный характер. Достоевский поддался давлению реакции, восторжествовавшей после поражения движения сороковых годов.

Однако реакция овладевает душами людей не всегда по стандарту. Обстоятельство это приобретает особо важное значение, когда речь идет о таком человеке, как Достоевский.

Условия сибирской жизни сыграли большую роль в том, как, в каких формах разыгрался духовный кризис писателя, и в том, какую окраску приняли его переживания, его размышления о судьбах России, о судьбах человечества, об идеале, который литература должна поставить перед людьми.

Устои нового, революционного и социалистического мировоззрения не успели еще до ареста по-настоящему закрепиться в сознании Достоевского. Употребляя терминологию писем эпохи, можно сказать: только-только дождался он новых пророков, только-только уши его услышали новую благовест, только-только глаза его увидели новую зарю, как его постигла катастрофа.

Достоевский пробовал сопротивляться неблагоприятным воздействиям сибирской жизни. По намекам, всматриваясь в его произведениях, можно полагать, что, вероятно, около года он уже в Омском остроге оставался верен всему тому, за что бестрепетно пошел

навстречу смертному приговору, а затем страшное давление вековых напластований прошедшего пересилило и надломило его.

«Вся Россия живет одним Петербургом», — полагал Достоевский. Гипертрофия петербургской жизни — политической, умственной, культурной — очень оттеняла «вековую тишину» провинции. Различие же между Петербургом и Сибирью производило впечатление неизмеримо резкого контраста, особенно сильно действовавшего на психику Достоевского, вообще-то склонного к антиномическому мышлению, к поляризации итогов.

Чем больше Достоевский вдумывался в свой сибирский опыт, тем больше кипение передовых идей в Петербурге начинало казаться ему миражем, совершенно не соответствующим неподвижной (по его представлению, неподвижной) костности всей остальной огромной империи. Каждое новое сибирское впечатление, каждое новое сибирское переживание начинало убеждать Достоевского в том, что рвется в будущее только отделившаяся от «почвы» немногочисленная «петербургская» интеллигенция и что порыв ее бессилен и обречен.

Сибирь внушала Достоевскому мысль, что косные силы торможения — и в России и в мире — неизмеримо могущественнее сил движения, подготавливающих будущее. Ему стало казаться, что время остановилось, что в Сибири нет истории, — и из этих горестных своих замет он стал делать далеко идущие выводы.

В Омске Достоевский толкал алебастр, таскал кирпичи или разбирал старые барки. С вьюкого берега Иртыша перед ним открывалась пустынная окрестность. «С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками, чернели кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы само время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его».

Достоевского не прельщала перспектива романтического опрошения, воспеваемая в поэзии двадцатых годов. Это было то же «никуда», не сулившее разрешения проблем, которыми пылал его мозг, не дававшее исхода противоречиям, в тисках которых тревожно метались лучшие умы России и Европы.

Сибирь лишала Достоевского не только внешней свободы. Капля по капле вдалбливала она в его сознание вкрадчивую, обессиливающую мысль, что человек мал и слаб, что человек должен добровольно признать несвободу, умаление личности нормальным делом.

Достоевскому казалось, что история Сибири всем ходом своим подтверждала этот печальный тезис.

Сибирь завоевывали и колонизировали

ли **отважные** люди, не уживавшиеся с крепостным состоянием, с царской неправдой, искавшие воли.

«А пуще всего не **забывайте**,— звал Ермак товарищей в свой знаменитый поход,— что здесь оставаться — петли не миновать, а туда пойдем — вольное житье найдем».

Подвиг покорения Сибири был результатом самодеятельности народных масс, нашедших в пути за Урал единственный выход из обступивших их со всех сторон неволи и неволи.

Люди такого типа и **склада**, как неутомная, неумная вольница Ермака, шли пионерами все дальше и дальше на восток — исследовали край, прокладывали тропы и дороги, рубили дома и города, валили тайгу, пахали землю, охотились, ловили рыбу, вели торга, отстаивали приобретенное с оружием в руках, расширяли границы расселения русского племени. Но вслед за вольными казаками, вслед за охочими переселенцами шел царский воевода, царский солдат, царский чиновник, царский палач, налажали дани и подати и заводили свои порядки. Воспетый Некрасовым сибирский **Тарбагатай** так и остался недостижимым крестьянским **даем**, прекрасной, но несбыточной утопией.

История старой Сибири — это история народных подвигов, сопротивления, бунтов, сочувствия Пугачеву, история собственных самозванцев, бродяжничества, индивидуальных побегов, групповых уходов в край, еще не достижимые для карательной административной десницы, волнений среди **иностранцев**.

Императорская государственность никогда не была в состоянии подавить до конца низовую самодеятельность, но последняя все же до поры до времени не могла приостановить противонародной, антидемократической эволюции: ослаблялась способность отстаивать свои права, ширилось примирение с существующим порядком, вера в бога и вера в царя перекрывали вольное брожение, не имевшее определенной цели, определенной программы, определенно-го идеала. Казачество превращалось в орудие царского гнета и проводника царской политики. Разлагалось, не успев **по-настоящему** сложиться, и сибирское так называемое общество. Деспотизм, произвол, лихоимство, повальное взяточничество создавали атмосферу, в которой не могло нормально развиваться самосознание даже у достаточных слоев населения Сибири.

Царизм превратил Сибирь в край каторги и ссылки. Смиряющее воздействие старой, непробудившейся Сибири хорошо символизировалось эволюцией сибирских городов, куда Достоевского привел приговор по процессу петрашевцев.

Они строились первоначально как крепости, для защиты раздвинувшихся **границ**, для охраны поселенцев от не-

приятельских **«перелазов»**, захватов в плен, уводов в невольничество, угона скота.

Упрочение безопасности края, укрепление оседлости населения привели к отмиранию **военно-стратегических** функций и Омска, и Семипалатинска, и Кузнецка.

Результаты пролитой крови, напряженных усилий, невероятных трудов обернулись — как бы по иронии истории, а на деле вполне по логике монархическо-крепостнического строя — превращением этих городов в становища пауков-чиновников и в каторжно-сылльные пункты.

В итоге долгого, трудного развития, после многих напряжений, одолений и побед, вошедших в летописи и народные предания, крепости преобразовались в остроги. В зданиях, предназначенных раньше для **военно-боевых** целей, размещались узники. Техника возведения новых тюрем совпала с техникой возведения старых укреплений. Острожная стена, за которой томился Достоевский, была построена из таких же заостренных **брусчаток**, из каких состояли первоначально стены и Омска, и Семипалатинска, и Кузнецка.

«Сибирь,— писал Достоевский.— На берегу широкой, пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог».

Это не только точное описание старого Омска, но и краткая схема его истории: чиновники **расположились** и властвовали в городе, построенном первоначально как крепость, в котором видимым и главным символом их бесконтрольного всемогущества стал острог.

Сибирь завоевывали и осваивали массы, а парадоксальность исторического развития привела к тому, что из числа омских казаков черпались подкрепления для подавления пугачевского восстания, которому **«черный»** омский народ сочувствовал так же, как и везде. Дело дошло до того, что из Омска, созданного трудами не ужившихся в неволе и неправде мужиков, стали выписывать палачей туда, где их не хватало.

Живя в Омске и Семипалатинске под гнетом мучительных и суживающих умственное развитие условий, Достоевский стал склоняться к мысли, что чем дальше от гипертрофированного центра империи, от Петербурга, с его **«беспочвенной»**, **«миражной»** интеллигенцией, тем меньше потребности в свободе. Смиряющая сила, неуловимая и таинственная, разлитая, как казалось ему, во всем воздухе Сибири, проникала в душу и требовала преклонения перед собой не только из страха, но и по внутреннему признанию.

Достоевский с отчаянием и тайными угрызениями видел, что болото смирения засасывает и его,

«Не знаю, что ждет меня в Семипалатинске,— взывал он к брату,— хлопот-

чи за меня, проси кого-нибудь. Нельзя ли мне через год, через два на Кавказ,—все-таки Россия! Это мое пламенное желание, проси ради Христа! Брат, не забывай меня!»

Достоевский, гений, начинал чуть что не мечтать о том, чтобы выйти из казармы в гражданскую службу чиновником. «Я сам ведь буду чиновником и скоро может быть».—убеждал он себя и других. Он готов был согласиться не только на Кавказ, но и на Барнаул. «Начальник Алтайских заводов полковник Гернгросс очень желает, чтоб я перешел служить к нему, и готов дать мне место с некоторым жалованием в Барнауле. Я об этом думаю...»

Мечась, как орел в клетке, Достоевский начинал вдруг взвешивать в уме проекты «громадных» спекуляций, «простор» для которых открывала все та же Сибирь: «...здесь в Сибири, с очень маленьким капиталом... можно делать хорошие и верные спекуляции. Если б я здесь, в Семипалатинске, имел только 300 руб. сер. лишних, то я на эти 300 нажил бы в год еще 300. Край новый и любопытный».

В Семипалатинске, как и в Кузнецке, сохранился дом, в котором жил Достоевский.

Достаточно подойти к нему и войти внутрь, чтобы понять, как тесен, неприютен и бесперспективен был горизонт, давивший угнетенного в далекую глушь писателя.

В Омске Достоевский жил закованным в кандалы каторжанином, «чёрнорабочим», «крепкого телосложения», «знающим грамоте». В Семипалатинске Достоевский дослужился до прапорщичьего чина, что дало ему возможность поселиться на отдельной квартире и завести семью. Он вошел в семипалатинское общество, но нравственного облегчения не получил. Ни в одном семипалатинском доме, ни в одной кузнецкой квартире Достоевский не нашел хотя бы проблеска ошейника мысли, Достоевского обступило со всех сторон мешанство с его эгоизмом, стяжательством, нетерпимостью, претенциозностью, мелочными интересами, с пересудами и сплетнями, со стремлением уподобить себе все, что хоть чем-нибудь* выделялось не встречавшее ниоткуда отпора, назойливо вмешивавшееся в то, чего не понимало, по-своему столь же противоположное законам гуманности, как и каторга.

Семипалатинская и кузнецкая мешанская уозть как бы завершала совокупность отрицательных воздействий, которым подвергался Достоевский в Сибири, гнувших его долу, ломавших его докаторжные представления о человечестве и человеке.

Наказание каторгой и солдатчиной унижало Достоевского нравственно, идейно, и трудно было ему бороться с обволакивавшими его со всех сторон

враждебными, обессиливающими воздействиями. Или погружение в болото особо вязкой, особо неодолимой сибирской обывательщины, или конец всему, конец собственному прошлому без надежд на какой-либо выход — и тогда в подавленном своем состоянии Достоевский видел впереди одну только смерть.

«Знаете ли,— писал он из Семипалатинска 30 ноября 1857 года сестре своей первой жены, В. Д. Констант,— у меня есть какой-то предассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть... Уверю Вас, что я в этом случае не мнителен и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться».

Конечно, Достоевский не сделался бы Достоевским, таким, каким мы его знаем, писателем, оставившим неизгладимый след и в литературе и в совести человечества, если б подобные настроения поглотили его целиком. Но они не были случайны и были вызваны не только физическими муками. Достоевский навсегда запомнил, что Сибирь подвела его к краю истории, к глухому тупику, где его подстерегала если не физическая гибель, то духовная смерть. «Записки из Мертого дома» открываются описанием мертвого края, мертвого города, населенного юридически свободными, но мертвыми душами, по-своему разрешившими «загадку жизни». В «мертвом доме», в остроге, томилась и билась в сопротивлении или в агонии пленные, присланные живые души, в мертвом же городе все спало отвратительным, нечистым, удушающим сном.

Как ни бился Достоевский, он уж не мог сбросить со счетов «разрешение загадки жизни», диктовавшееся его сибирским опытом. Оно крепко засело в его сознании, подтверждающая вывод, сделанный им под влиянием классового разобщения с «народом», с массами. Сибирское чистилище подтверждало Достоевскому спасительность смирения, необходимость искать разрешения противоречий действительности в «народной мудрости», в религии, а не в истории; под эгидой царского скипетра, а не в революции.

Достоевский потерял веру в идеал, во имя которого он так пострадал. Идеал Достоевского не выдержал испытания и потерпел крах.

Для Достоевского, с его гуманистической закваской, с его социально-философскими устремлениями, с его думами о человеке и человечестве это и составляло основу основ пережитого им в Сибири несчастья.

Достоевский и как художник и как публицист мыслил эпохами, вглядываясь в мерцающие в неясной дали судьбы народов, мечтал о просветлении каждого отдельного человека и о справедливом устроении жизни всего человечества. Он отнесся к крушению своего идеала не

как к своему индивидуальному переживанию, а как к объективной всемирно-исторической трагедии. Он полагал, что не в нем, Достоевском, надломилась вера в идеал, а что самый идеал, имевший независимую от него самого нравственную ценность вселенского, или, во всяком случае, всевропейского и все-русского масштаба, не выдержал проверки действительностью. Знамя, ведшее вперед, звавшее к самоотверженным подвигам, пробитое, простреленное в великих и малых битвах сороковых годов, надо спустить — вот каков был вывод Достоевского, и это наложило отпечаток на всю его внутреннюю жизнь, на все его искания и творческие замыслы.

Выражением разочарования, охватившего лучшую часть европейского и русского общества в первой четверти XIX века, стал в литературе байронизм. Слова Достоевского, посвященные байронизму, окрашены в сильные эмоциональные тона, они дышат отголосками его собственных субъективных настроений. Да для его поколения и сама французская революция не была отдаленным прошлым. Вся лучшая часть его начала духовную жизнь с сочувствия к ней или, во всяком случае, с определения своего отношения к ней.

«Байронизм,— писал Достоевский,— хотя был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После иступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовых тогда нации европейского человечества, наступил исход, столь непохожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый идеал еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые...»

Исход из безнадеежного, казалось бы, тупика принес социализм, первоначально утопический. Солнце снова возшло над горизонтом, разочарование сменилось новой убежденностью, вера в человека, гуманизм утвердились на новых и более уже прочных основаниях.

«...Вдруг возникло,— писал Достоевский.— действительно новое слово, и раздались новые надежды: явились люди, прямо возгласившие, что дело остановилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело надо продол-

жать, что обожление человечества должно быть радикальное, социальное... засветилась опять надежда и начала возрождаться вера».

И вот в Сибири Достоевский под влиянием своего в одиночестве пережитого опыта усомнился в «вере», в идеале, возродившем и западноевропейскую и русскую общественную мысль, вдохновившем его раннее творчество и приведшем его в ряды первой организации русских социалистов...

То, что произошло с Достоевским, не было и в то время обязательным. Были деятели, выдержавшие испытания. Не опустил знамени находившийся примерно в одинаковых условиях современник и товарищ Достоевского Петрашевский. Каторга и ссылка Чернышевского были и ужаснее и дольше, но Чернышевский не дрогнул. (Правда, Чернышевский ушел в Сибирь почти на полтора десятилетия позже, на гребне более могущественного, более зрелого, относительно более массового революционного потока.) Но Петрашевский и Чернышевский были мыслители, политические руководители, менее подверженные эмоциональным колебаниям, вызываемым давлением непосредственных обстоятельств, как это бывает с писателями и художниками, даже гениальными. И самое гавыое, у Петрашевского, у Чернышевского были утвердившиеся убеждения, за которые не было мировоззрение, предвидевшее, между прочим, и отлив движения и временные поражения. Поэтому их вера в то, что будущее непременно осуществит их идеал, помогала им преодолеть години реакции, отлива революции.

У Достоевского не было такой убежденности, да и натура у него была иная, более нестойкая, легко возбудимая, склонная к метаниям от одной крайности к другой. Он был гений, но он был слаб и незащищен в своей гениальности, он не мог себе представить, что под толстым ледяным покровом дремлют и ждут своего часа животворные семена, что крошечная тьма не на веки, что за нею свет предстоящего восхода.

Чтобы понять Достоевского и не судить его анахроническим судом, нужно помнить, что признаки зарождения капитализма являлись для него добавочным и уже окончательным доказательством бессилия (будто бы бессилия) не на религии основанного, атеистического социалистического идеала. Этому убеждению способствовали омские впечатления.

Омск, бюрократическая и военная столица Западной Сибири, в самом деле постепенно превратился в капиталистический город со всеми вытекающими последствиями.

Женщина бледнеет, отмирая,
I за купцом является ч...
х сбереженья в Азиатском банке,
Их кабаки над гр... стоят.
Как в непогоду растут грибы-поганки,
ак разрастался Мокриши ч... форштат.
ам явились шкеты и калики,
одесские, жулик костромской

И в кабаках **ножовщина** и крики,
раздаст **пинки** городовой...

Двадцатый век стучится у порога.
И ожила степеней седая даль.
Отстроена железная дорога —
Сибирская большая магистраль.

(Л. Мартынов).

У Достоевского было достаточно во-
ображения, чтобы представить себе, что
капитализм придет и в Сибирь, чтобы
подчинить и ее «европейским» законам
чистогана. Вспомните Разумихина из
«Преступления и наказания», мечтав-
шего положить «начало будущего со-
стояния, скопить хоть несколько денег
и переехать в Сибирь, где почва богата
во всех отношениях, а работников, лю-
дей и капиталов мало», поселиться там,
«в том самом городе...».

Достоевский не был бы Достоевским,
если б утвердился на идеале добродетельной **лужищицы**, лежащей в осно-
вании расчетов Разумихина. Идеал «пра-
вильных капиталов» (термин самого До-
стоевского) промелькнул на страницах
«Преступления и наказания» и пропал.
Достоевский отлично понимал, что ка-
питализм и в Сибирь принесет свой-
ственную ему «социальную антропофа-
гию» (социальное людоедство), распро-
странит и здесь нравы каторжной ка-
зармы.

Мысль о возможности праведной жиз-
ни в рамках капитализма всплыла было
в его сознании от **растерянности**, потому
что он не знал, в чем же может **выра-
зиться** положительная программа, если
отвергнуть социализм.

Некоторые неумеренные — и, добавим,
реакционные — поклонники пытались
поднять Достоевского над миром как
пророка, прорицающего будущее и спо-
собно указать на истинный путь сре-
ди множества мнящихся ложных дорог.
Но в том-то и дело, что Достоевский
никогда не обладал пророческим даром
и тенденцией развития от настоящего к
будущему были закрыты для него, До-
стоевский необыкновенно остро пережи-
вал противоречия **современности**, ее бо-
ли, ее страдания и, потрясенный, со
всей мощью и со всем волнением, при-
сущим его гению, твердил, что так даль-
ше продолжаться не может, что нельзя
жить в условиях, не выдерживающих
суда совести. Если б Достоевский пони-
мал, как надо жить дальше, он исцелил-
ся бы от своей раздвоенности, расщеп-
ленности своей, причины которых лежа-
ли не только в его психологии и физио-
логии, но и в самой эпохе.

«Странно бы требовать в такое время,
как наше, от людей **ясности**», — твердил
Достоевский, и первый, кого он имел в
виду, был он сам.

Разочарование и отчаяние, в которые
впал Достоевский в Сибири, объясняют-
ся его тяжким опытом, его впечатли-
тельностью, характером его идеологи-
ческой подготовки, но они не были обосно-
ваны в большом историческом
плане, оставшемся скрытым от взоров
писателя.

Утопический социализм не смог объ-
яснить Достоевскому, что будущее по-
несет на своих плечах рабочий класс,
что рабочий класс-то и обеспечит в о-
площение идеала в действительность.

Мало того, Достоевский не усвоил
идеи развития, даже в общем виде,
укреплявшей у Белинского, Петрашев-
ского, Чернышевского доверие к буду-
щему. Он думал, что социализм должен
реализоваться разом, «вдруг» или же
окажется вовсе невозможным.

Капитализм не строился и не мог
строиться на «правильных капиталах»,
но капитализм породил и взрастил си-
лу, **способ**лю организовать на деле со-
циалистический порядок и способную
перенять и развить гуманистический
идеал, судьба которого столь волновала
Достоевского.

Достоевский бы просто не понял, о
чем идет речь, если б кто-нибудь по-
пытался ему объяснить, что и в Сибири
возникнет рабочее движение, что безус-
ходность, столь, казалось бы, символически-
доказательно воплощенная в Си-
бири, является **временной, мни-
мой**.

Картина, встающая из приведенных
выше стихов Мартынова, верна, но од-
носторонняя: в ней нет оздоравливающего,
творческого, перспективного начала,
принесенного в историю Омска рабочим
классом. Железная дорога вызвала не
только распад патриархальщины, спе-
куляцию и на костях базирующееся
грюндерство, железная дорога знамени-
вала создание в Омске отряда всерос-
сийского пролетариата. Первая стачка и
Омске — это стачка строителей вокзала,
первый организатор омских рабочих —
член «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса» Григорий Александрович
Грозный.

В 1898 году, на пороге нового века,
распропагандированные Г. А. Грозным
рабочие железнодорожных мастерских
провели памятную в истории города за-
бастовку — и выиграли ее. На подъеме
рабочего движения создаются в Омске
первые социал-демократические круж-
ки. В 1902 году омские рабочие, обма-
нув бдительность полицейских, отмети-
ли Первое мая, демонстрируя свое един-
ство с всемирным рабочим движением.

Новая жизнь пришла в Омск, в Си-
бирь, пламя упрочившегося социалисти-
ческого идеала зажгло там, где рань-
ше, казалось, гуманный голос терялся и
глохнул в бескрайних просторах, где
в самую людскую жизнь переносился
звериный таежный закон: человек че-
ловеку — волк.

Люди авангарда не остались без под-
держки. Борьба за будущее, за осуще-
ствление идеала требовала жертв, но
эти жертвы не были уже, как казалось
некогда Достоевскому, **нецелесообраз-**
ными, бессмысленными.

С тех пор как во главе революционно-

остановить основного направленного исторического процесса. Омск хранит в своей памяти и жестокие расправы царского палача **Меллер-Закомельского** (1905 год) и массовые расстрелы ставленника русской и иностранной буржуазии Колчака. Омск был столицей недолгого, но кровавого режима адмирала-диктатора. Но даже само колчаковское правительство должно было признать, что Омск для него «наиболее неблагоприятный в политическом отношении центр, главный оплот большевизма в Сибири».

В Омске много скромных памятников, воздвигнутых на местах казни или на могилах борцов, сложивших свои головы за победу Советской власти. На сквере у Краеведческого музея высится памятник, сооруженный по проекту неизвестного скульптора, «павшим в ноябре 1919 года, при освобождении Омска от Колчака, во имя великой идеи коммунизма». Гордая женщина одной рукой поддерживает смертельно раненного рабочего, а другой подымает развернутое, зовущее знамя. Надпись гласит: «На этой могиле клянемся бороться не покладая рук, вплоть до полного торжества коммунизма!»

В надписях на могилах революционеров звучит непреклонная убежденность в правоте своего дела, железная воля довести его сквозь испытания и бури, через жертвы и кровь до завершающего конца.

Как мы уже рассказывали, старая история сибирских городов, в особенности до возникновения революционного движения, возглавленного рабочим классом, имела свою символику, которая, быть может, лучше и экономнее всего нашла себе выражение в строке Александра Блока:

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!

Но и история советского, социалистического Омска имеет также свою символику. Она короче по годам, эта новая история сибирского города, она обозревается легче, и смысл ее выступает резко и рельефно.

Извилистая тропа от безвестных могил основателей Омска приводила к тюрьме, к острогу, расположившемуся в самом центре его. Широкие улицы, идущие от могил борцов за коммунизм, выводят к индустриальным гигантам, к кварталам новых домов, к вузам и школам, к дворцам культуры, к садам и скверам, созданным за сорок лет Советской власти.

Омск не знал разрушений, которым подверглись города, попавшие в зону гитлеровского нашествия. Его не пришлось восстанавливать сызнова. В Омске легко выделяются дома и улицы, унаследованные от прошлого, и, тем не менее, Омск теперь — **новый город**. Он широко раздвинул свои пределы, в нем воздвигнуты десятки мощных пред-

местьями», которые и предместьями-то нельзя назвать, потому что по количеству людей, по типу домов, по коммунальному обслуживанию они больше и лучше старого, **купеческого центра**.

Население Омска перевалило за пол-миллиона. По числу жителей Омск уступает в Сибири только Новосибирску и превышает такие старые и обжитые **Города, Как, например, Воронеж**. Омский элеватор считается самым крупным в Европе и в Азии. Я не буду приводить цифр, это — дело статистиков. Есть факты, которые говорят, быть может, красноречивее цифр. В 1896 году омский купец привез чугунный мост — не для широкого Иртыша, а для узенькой **Оми**. Привез из Парижа, с выставки, тащить его через всю необъятную Российскую империю действительно было своеобразным подвигом. Мост этот до сих пор стоит — так себе мост, довольно жалкий по всем своим статьям. А меж тем тогда он произвел громадное впечатление, отголоски которого дают себя знать во всех путеводителях и во всех исторических очерках. Сегодня в Омск приезжаешь по электрифицированной железной дороге или прилетаешь на сверхскоростном самолете. Сегодня Омск — крупный промышленный центр, могущий «состязаться по совершенству сложнейшего машиностроения или по технике нефтеперегонного дела с любым индустриальным пунктом **мира**, включая города Америки».

Омск теперь не затерянный в бескрайней степи городок, не большая деревня, как он описан Достоевским. Город живет сильно, **интересно**, он имеет равноправное значение среди других крупных городов СССР,

Мое первое знакомление с Омском началось еще в Москве. Омский драматический театр играл в помещении Малого. На торжественном открытии гастролей произошел трогательный диалог между **омичами** и **А. А. Яблочкиной**. Знаменитая актриса выступала в Омске, и это было **делом** довольно обычным. Но чтобы Омск — или города, подобные Омску, — могли высылать напоказ избалованным и довольно строгим москвичам свои спектакли, это было раньше невозможно: нечего было показывать. Хотя Москва уже **привыкла** к гастроллям областных театров, необычное это дело, свидетельствовавшее о многом, взволновало не только гостей, но и выступавшую **Яблочкину**.

Приятно было перед отъездом узнать, что **омич** К. П. Горшенин, профессор Омского сельскохозяйственного института, получил Ленинскую премию за работу «Почвы южной "Сибири»». Такие труды не рождаются случайно, они свидетельствуют о том, что сибирская наука входит составной частью в науку общесоюзную,

Впечатления на месте подтвердили и даже превзошли ожидания, разбухшие предварительно. В Омске повышенный жизненный тонус, создающийся любовной заботой жителей о своем городе, пониманием его места в общей жизни страны. Город напряженно трудится. Везде и во всем дают себя знать культурные потребности, в которых выражается выросшая душа сибиряка.

В Омске четыре театра — драматический, музыкальный ТЮЗ и кукольный. Интересен омский Краеведческий музей, в котором много нетрафаретных, оригинальных экспонатов. Ценные произведения имеются в любовно содержащемся Музее изобразительных искусств.

Во времена Достоевского таланты людей из народа погибали под гнетом жестоких и неблагоприятных обстоятельств. Они прорывались иногда красочно и ярко, скажем, в любительском каторжанском спектакле, столь тепло описанном в «Записках из Мертвого дома», но это были отдельные пятна, снова тонувшие и снова пропадавшие в общем потоке безрадостного, беспросветного бытия.

Самое интересное в современной культурной жизни Омска — это ее демократизм, проникновение разнообразных и дифференцированных видов культуры в массы.

Дворцы культуры (а в Омске имеется несколько очень хороших дворцов культуры) — это не изолированные очаги, светящие разрозненными огнями, это организующие центры, пропагандисты знаний/воспитатели вкусов, друзья досуга, тысячами нитей связанные не только с рабочими и служащими завода, но и со всем населением района.

Мне пришлось присутствовать при показе художественной самостоятельности заводского Дворца культуры. Выступали молодые кружковцы. Они дали богатый и разнообразный концерт, исполняемый более одаренными и менее одаренными участниками, но от начала до конца водруженный и радостный. Зал был полон рабочими, заводской интеллигенцией, приезжими из «города». Зрители были одеты по-праздничному и с живым, с родственным, сказал бы я, интересом реагировали на все, что происходило на сцене.

Становилось понятным, что социализм создал условия, при которых ни одно дарование на заводе и даже в районе не может пропасть бесследно. Вспомните мучительный путь восхождения Горького. А сколько, быть может, не менее великих дарований было затерто, затоптано, погибло в нужде, в бедствиях, да просто потому, что не могло осознать себя! Теперь этой напрасной траты и гибели народных дарований, как правило, не может быть.

О дворцах культуры следовало бы поговорить подробнее, недостаток места не позволяет этого сделать. Кажется, мы

недооцениваем их значение. Им: предстоит сыграть очень большую роль в общественном, в самостоятельном строительстве коммунистической культуры, да и в воспитании коммунистического человека.

Достоевского мучило отсутствие того, что он называл «благообразием» в русской жизни, в условиях первоначально накопления и капиталистического хищничества. Он несколько раз с огромным сочувствием приводил народное выражение «образить человека», что означает приобретение не только навыков внешней пристойности, благовоспитанности, но и выработку внутренних правил чести, долга, «вежества», вежливости, гуманности, опирающихся не на дрессировку (как это было в высшем дворянстве, в кастовом офицерстве), а на высокое уважение к достоинству человека.

Русское слово «образить» в понимании Достоевского сочеталось с понятием «рестаурации», восстановления человека, поруганного гнетом, эксплуатацией, запятнанного тьмой вековой несправедливости, темноты, варварства, зверства.

При пошатнувшейся вере в социалистический идеал Достоевский стал полагать, что исправить, воспитать, сделать гуманным человека можно только страданием — и Надо уж ПРЯМО сказать, — страданием, причиняемым одними людьми другим.

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский еще не дошел до этого вывода, он сформулировал его по-настоящему в «Дневнике писателя», под влиянием церкви и Победоносцева, <но ссылаясь ретроспективно и на собственный сибирский опыт.

Развившееся у Достоевского недоверие к человеку объясняется и тем, что он, гениальный психолог, все же не сумел заглянуть в будущее, он не мог предвидеть процесса выпрямления человека, высвобождения его из-под вековой забитости, обогащения его «духовной» природы.

Огромные, принципиальные изменения произошли в результате Октябрьской революции и строительства социализма не только в вещно-материальном мире, в индустрии, в путях сообщения, в техническом вооружении сельского хозяйства, не только в экономических отношениях, но и в самом человеке,

На Омском нефтеперегонном заводе двадцатидвухлетняя девушка спокойно и неторопливо контролировала самостоятельно работающие механизмы.

Конечно, труд и при помощи механизмов высокой сложности не идилия. Физический труд остается первоосновой всякой трудовой деятельности, но рабочих, пользующийся только своей физической силой, — это сегодня явление

отсталое, пережиток вчерашнего и даже позавчерашнего дня. Рабочий сегодня управляет сложной машиной, или сложным агрегатом машин, или регулирует автоматическую линию. В его труде играют все большую и большую роль не только обыкновенная сноровка, но и развитой ум, знания, интеллектуальная и эмоциональная чуткость. Чтобы социалистический труд, базирующийся на современных, **беспрерывно развивающихся** науке и технике, был успешен, необходимо, чтобы рабочий был **личностью**. Его квалификация связана с его культурой, а его культура — с его моральными устоями.

У нас, к сожалению, в художественной литературе еще иногда изображают рабочего по старинке — как простодушина, грубоватого, выпивающего, но режущего зато правду-матку. Правда-матка — дело хорошее, но, во-первых, правда-матка стала сложнее и требует интеллекта, **ризонта**, а во-вторых, современный рабочий уже по **самому** характеру **Своего Труда — ЭТО новый человек**. Чтобы управиться со своей профессией, он должен многое уметь, а чтобы уметь — надо **знать**, чтобы знать — надо быть всесторонне развитым человеком. Существует множество нитей; связывающих интерес к литературе, к живописи, к музыке с лучшим усвоением физики, математики и лучшим умением управлять механизмами. Ведь недаром рабочая квалификация становится теперь важной ступенькой к высшему образованию. Ведь недаром современный передовой рабочий входит в науку, становится администратором, политическим руководителем.

Новое всегда трудно выразить, новое в эпохе и новое в человеке. Поэтому и в искусстве и в литературе подражательность легче и распространеннее новаторства, где приходится, опираясь на завоеванное и достигнутое, создавать неведомые раньше образы.

Бывает, однако, и так, что жизнь создает признаки, по которым относительно легко проникнуть в атмосферу, в психологию нового.

В Омске таким симптомом новых устремлений является страсть к озеленению, к цветам, охватившая буквально все население города. Может быть, некоторым читателям удалось посмотреть небольшой документальный фильм «Город-сад». Это фильм не о Ялте, не о Сочи, а об Омске, хотя кадры его, заснятые в летнее время, рождают ассоциацию прежде всего с югом. Да, Омск летом похож на Сочи. В нем еще сохранились старые улицы, еще остались древние, вросшие в землю домишки. Глядя на них, становится понятным, каким был старый, мещанский Омск: на улицу **выходить** без особой надобности не хотелось — живи в себе и для себя, махни рукой на коллектив. Новый хозяин города не мог удовлетвориться полученным наследием. Не мог он также

удовлетвориться только строительством заводов и жилых домов. Социалистические заводы и социалистические дома рождали органическую потребность в «благообразии», о котором тшестно мечтал Достоевский, Едва смолкли раскаты гражданской войны, как омичи стали не только чистить, но и украшать свой город. «Семнадцать лет тому назад, — вспоминал Емельян Ярославский в 1937 году, — я и мои товарищи по работе с большой яростью чистили и ровняли грязные улицы Омска и озеленяли их. Теперь на месте посаженных нами садилов и аллей выросли большие деревья»¹.

Первоначальная инициатива не **угасла**. Вслед за деревьями стали высаживать на улицы и во дворах жасмин, сирень, южные цветы — гвоздику, **гладиолусы**, канны, розы. В первое время цветы на улицах рождали у еще недостаточно окультуренного человека соблазн — сорвать цветок **для себя**, даже если при этом пришлось бы вытоптать десяток других. Омичи рассказывают: пока цветов было мало, никакая охрана не помогала — рвали и вытаптывали. Когда цветы залили площади и улицы — все их стали беречь и никто на них уже не посягал.

В этой подробности **преломился** закон приобщения масс к культуре: сначала дай, потом воспитывай и требуй. Смешно было бы обучать не рвать цветов, которых еще нет. Сейчас уважение к растениям вошло в плоть и кровь омичей.

Цветы не только украшают город. Коллективная забота о цветах облагораживает нравы, развивает общительность, дружелюбие, помогает **воспитывать** детей, вносит порядок и организованность в быт. Цветы — только одно из проявлений стремления человека к красоте и гармонии; **взращенные здесь**, они дадут себя **знать там**, в других многообразных сферах общественной и личной жизни человека.

Достоевский не раз говаривал, что красота спасет мир. Многие и разное вкладывал он в это изречение. Как интуитивист, он полагал, что через красоту истина может быть постигнута человеком лучше, полной, чем через науку, и в этом ошибался. Но вместе с тем он полагал, что красота «культурит», облагораживает, «благообразит» человека, его отношение к другим людям, его **быт**, — и в этом он был прав. С одним, однако, важным добавлением: облагораживающее воздействие красоты может в полной мере сказаться только при условии освобождения людей от гнета, от страха, от нищеты, от заботы о куске хлеба насущного, от эксплуатации, от капиталистического рабства.

¹ «Омская правда» т 21 ноября 1937 г. Приведено в книге М. К. Юрасовой. Очерки истории Омска. Омское обл. книжное издательство. 1954. стр. 206.

Враги социалистического идеала не раз выдвигали в качестве аргумента против него жизнь и творчество Достоевского. Они шли на натяжки, они злоупотребляли именем великого писателя, потому что наследие Достоевского, взятое в целом и сопоставленное с действительностью, с реальным ходом развития, как раз подтверждает невозможность опираться на идеал социализма, идеал коммунизма как путеводную звезду спасения человечества.

Сравнение Сибири времен Достоевского с Сибирью наших дней показывает, что, несмотря на не прямые и трудные пути, которыми идет история, человечество никогда не имело такого проверенного, такого обоснованного, такого прочного идеала, как социализм, как коммунизм.

Когда потерпел крах идеал, во имя которого буржуазия подняла массы на свою революцию, лучшие люди вышли из состояния отчаяния и дезориентации, найдя другой, новый, социалистический идеал.

После того, как социалистический идеал, пусть даже первоначально в утопической форме, утвердился в сердцах трудящихся масс, разочарование в нем ни к чему другому не вело, как к возврату к заплесневелым, дискредитированным, потерявшим всякое значение, отмершим и мертвым уже реакционным «ценностям» прошлого.

Классовая борьба, ее отливы и приливы, ее неожиданные повороты, временные поражения и временные трудности, кажущийся перевес враждебных сил, ошибки могут вызвать в слабых душах и нетвердых умах разочарование в социализме. Но предложить что-нибудь взамен социализма они уже не могут, так как другого обоснованного общественного идеала ныне не существует.

Они могут лишь предать социализм и перейти в стан его врагов.

Не так давно французский ревизионист Лефевр заявил: «Социалистический или коммунистический идеал... также поставлен под вопрос. Он становится проблемой». Из критики ошибок, связанных с культом личности, Лефевр сделал следующий вывод: «Даже перед теми, кто не ставит под сомнение ни смысла исторического процесса, ни миссии рабочего класса, ныне разверзлась и ширится зияющая пустота».

Превращение социалистического идеала в «проблематическую пустоту» означает отказ от идеала — и больше ничего, капитуляцию перед буржуазной идеологией и буржуазными нормами.

Мы помним некоторых интеллигентов и писателей (например, Мальро), которых социалистический идеал привел в интернациональные бригады, борющиеся против Франко, и которых от-

каз от идеала превратил в пособников или в прямых сторонников фашизма.

Георг Лукач писал, что великие и реалистические художественные ценности порождаются не воодушевлением идеала, а вырастают из «навоза» истории, не в восхождении революции, а из ее «термидора», и это дало возможность предсказать, что положения эти обязательно послужат ступенькой к контрреволюции.

Однако отпадение отдельных лиц или даже отдельных групп, по теоретической ли шаткости или по корыстно-карьерным мотивам, не может уже повлиять на судьбу коммунистического идеала. «Крах отдельных лиц,— писал Ленин,— не диковинка в эпохи великих всемирных переломов»¹. «Лица и группы могут переходить с одной стороны на другую — это не только возможно, это даже неизбежно при всякой крупной общественной «встряске»; характер известного течения от этого нисколько не меняется; не меняется и идейная связь определенных течений, не меняется их классовое значение»².

Только верность идеалу открывает возможность для действительного, на принципиальной основе исправления ошибок. Самокритика — неотъемлемый момент в научном социализме. «Даже в дни праздника,— отметил Н. С. Хрущев,— мы должны напоминать о недостатках, не бояться говорить о них, у нас есть сила и воля, чтобы преодолеть недостатки, а если мы будем умалчивать о них, то эти недостатки медленнее будут устраняться и могут стать как бы постоянными спутниками»³.

Условием успешности самокритики является неизбежность марксистско-ленинского обоснования идеала.

Изучая Достоевского, его эволюцию, его колебания, его противоречия, не надо, однако, забывать, что он весь, целиком, принадлежит к эпохе, духовная атмосфера которой создавалась еще до конституирования российского пролетариата в класс, до проникновения в Россию марксизма.

Сомнения и возвраты не проходили бесследно и для Достоевского. Он пробовал укрываться в сумраке церкви, в тени престола и убеждался, что нет ему утешения. И тогда он, во всю силу своего гения, в бессмертных созданиях своих начинал вновь скрбеть и печалиться о неисцеленных людских страданиях.

Достоевский был человек раненой совести, голос которой звучал в нем немолчно. В отличие от таких, которые просто переходили на сторону не свергнутых еще хозяев, прежних своих врагов, вознаграждавших их за ренегатство материальными выгодами, Достоевский не мог остановиться ни на какой определенной точке, поэтому он и вздыхал горестно, что девятнадцатое столетие —

¹ В. И. Ленин

² Речь Н. С. Хрущева на торжественном заседании Верховного Совета БССР и ЦК КП Белоруссии. «Правда», 4 января 1959 г.

«больные столетия», полное самых невыясненных идеалов и самых неразрешенных желаний».

Пытаясь атаковать социализм, Достоевский, однако, не ослабил своего приговора над капитализмом, его нравами, его моралью и если примирялся с церковью, то только потому, что ему показалось, что она-то и переймет сущность социалистического идеала. «Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как **рабом**» — вот последний завет Достоевского.

Он глубоко ошибался, полагая, что религия, орудие имущего меньшинства, поможет осуществить цели неимущего большинства. Но в желании освободить большинство и устроить его жизнь на братских началах сказалось, может быть, вопреки воле Достоевского, признание правоты социалистических идей. Недаром Достоевский в предсмертном выпуске «Дневника писателя» даже к слову «социализм» вернулся, согласившись назвать свою программу «**нашим русским социализмом**» (несмотря на то, что в ней не было ни грана социализма).

Достоевский не стал снова социалистом, каким он все же был в сороковых годах во время дружбы с Белинским. Но страдания, кружения, самая беспомощность его указывают, что чуткая совесть его вне социализма не могла найти успокоения.

В духовной трагедии Достоевского громадное значение приобрел вопрос о судьбе личности в наступающую эпоху социалистических революций и социалистических преобразований. И это не случайно. Противники социализма с самого возникновения нового учения, с первых же выступлений пролетариата стали утверждать, что коллективизм ведет к **умерщвлению личности**.

Опасения за судьбу личности волнуют до сих пор мировую интеллигенцию, выбирающую себе место в соревновании двух систем.

В сороковых годах Достоевский вместе с первыми русскими социалистами поднял знамя борьбы за воскрешение личности в каждом, самом униженном, в самом последнем человеке. Общество не ограничивает, а восполняет и расширяет человеческую индивидуальность, надо лишь правильно организовать это общество, полагал он тогда. Взгляд этот Достоевский сохранил еще и в Сибири: «**вся-т причина внезапного взрыва (преступности) в том человеке,— суммировал Достоевский некоторые свои наблюдения над каторжанами,— от которого всего менее можно было ожидать его,— это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска о самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг проявляющееся и доходящее до злобы, до**

ошешества, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог». Когда Достоевский перестал быть социалистом, он стал призывать личность к смирению. И как это всегда бывало с Достоевским, метавшимся в противоречиях, мучившимся угрызениями совести, он попытался переложить свою вину на тех, кого он начал считать своими противниками, он стал обвинять социализм во враждебном отношении к личности.

Оглядываясь назад и сопоставляя историю с настоящим, мы видим, что колебания Достоевского, связанные с его опасениями за судьбу личности, отражают в самом деле существующий процесс борьбы за личность.

Достоевский боялся наступления царства Великого Инквизитора, в котором массовый человек лишится не только воли и разума, но даже простых индивидуальных желаний.

История вскрыла реальное содержание фантастическо-причудливых, неспокойных видений Достоевского, Это Гитлер думал построить тысячелетний рай на уставе прусской казармы, на власти каждого фюрера сверху вниз и на ответственности всех перед фюрером снизу вверх, это он обращался к «великой армии бедняков» с напоминанием, что они слишком бедны для того, чтобы считать свою личность высшим благом на земле.

Армия Советского Союза, разгромив Гитлера, спасла одновременно и личность от слепого подчинения грубой физической силе, рассматривающей ее лишь как пушечное мясо и рабочую скотину,

Не надо только думать, что с поражением гитлеризма были окончательно ликвидированы устремления заправил существующих еще империалистических кругов к установлению нивелированного «единого порядка» на фашистский образец. История послевоенного мира каждый день приносит доказательство, что опасность еще существует и пренебрегать ею было бы слишком легкомысленно.

Да и современные «нормальные» буржуазные демократии, на каком континенте они ни были бы расположены, таят в себе сильнейшую тенденцию к обезличиванию. Один из отцов кибернетики, американский ученый Норберт Винер, не может скрыть своего страха перед перспективой Левиафана, по сравнению с которым Левиафан Гоббса — «только милая шутка», «Господство машины (кибернетической «машины управления».— В. К.)» пишет он,— предполагает общество, достигшее последних ступеней возрастающей энтропии (в данном случае нивелировки.— В. К.), где вероятность (в данном случае оригинальность личности.— В. К.) незначительна и где статистические различия между индивидуумами равны нулю».

Винер не был бы буржуазным ученым,

если б не сделал при этом нескольких эживоков в сторону СССР. Однако основа его опасений вызвана главным образом — он этого не скрывает — тенденциями развития Америки, ее образа жизни, ее образования, ее системы научных исследований, ее искусства, ее военной политики.

Достоевского в Сибири, чем долее он в ней жил, тем более охватывала тревога, что человека не прибывает, а убывает. Он с ужасом увидел, что в нем самом сжимается человек, и действительно, нет более страшного зрелища, чем умаление гения, попытки его принизиться до жалкого уровня, равнение его на отсталость.

После смерти Достоевского прошло достаточно времени, чтобы сделать некоторые проверки. В буржуазном мире сейчас нередко прорываются довольно искренние признания. Самоновейшая школа французского романа, так называемые «реисты» (от латинского слова *reus* — вещь), отрицает возможность существенного отличия одного человека от другого, а в литературе, соответствующим образом, одного персонажа от другого. Как выразился один западный критик, «существа, населяющие произведение этой школы, убеждают себя в том, что из-за сходства со всеми окружающими они — никто».

Отличительнейшей чертой советской литературы является вера в человека, изображение роста его индивидуальности в процессе коллективной деятельности. Любовь к технике и техническим преобразованиям как в промышленности, так и в сельском хозяйстве не является в ней самоцелью, она вытекает из сознания, что современная наука и современная техника в социалистических условиях собирают человека, освобождают его от власти вещей и слепых стихий, расширяют его горизонты, дают ему ориентир не только в профессии, но и в мире, делают более ясным и разумным его мировоззрение, возвышают его до сознания своего места в космосе. И это не случайно, это продиктовано реальностью.

Социалистические условия существования, движение к коммунизму необходимо связаны с обогащением человеческой личности, притом не одиночек, а масс.

Особенно наглядно выражен процесс роста личности при социализме в представителях ранее угнетенных и отсталых народов, развитие которых искусственно тормозилось.

Семипалатинск во времена Достоевского относился к Сибири, а не к Казахстану. Казахи, как азиаты, по обычному европейскому предрассудку стояли вне культуры, вне личности — этому и Гегель учил! — и обстоятельство это, как можно судить по семипалатинским письмам, утяжеляло Достоевскому сибирские испытания.

Одно из самых сильных впечатлений,

вынесенных мною из поездки, связано с посещением одной казахской семьи в Семипалатинске. Глава семьи водил меня к дому Достоевского и к дому Абая, мысленно восстанавливая вместе со мной, чем был Семипалатинск сто лет тому назад, и сравнивая его с тем, каким он стал теперь. Хозяин — советский интеллигент, первый интеллигент в ряду прошлых поколений рода. Мы сидели за столом, и дети в этом казахском доме трогательно-серьезно и воодушевленно играли нам поочередно, на пианино и на скрипке, Бетховена, Моцарта и Чайковского. Под хорошее исполнение думалось: какие возможности для развития личности породила социалистическая революция для всех, для тех, кто был самым последним в мире! Какой открылся простор для соревнования не только коллективов, но и личностей всех национальностей и рас! И еще: в мировом соревновании кто достигнет больших высот, те ли, которые строят богатство своего быта, своего образования, своих эмоций за счет обездоливания других, таких же равных им или, может быть, еще лучших людей, или те, которые идут общим строем, поддерживая друг друга, давая каждому дорогу для проявления благородно направленных страстей и реализации у каждого имеющихся способностей?

Быть может, ответ на этот вопрос дан первенством советских спутников и советской космической ракеты, в создании которых участвовало множество советских людей, вышедших из таких вот социалистической революцией поднятых семей.

Чем дальше, тем лучше будут складываться условия для формирования и роста социалистической творческой личности.

Осуществление решений XXI съезда партии и перспектива их дальнейшего развития — перспектива осуществления коммунизма — дает все необходимое для всестороннего развития человека: труд, освобожденный от эксплуатации и от сопутствовавшего ему раньше изнурения, сближение между физической и умственной деятельностью, открытый доступ ко всем видам и ступеням образования, ко всем достижениям и формам искусств, досуг, дающий возможность удовлетворять любой интерес, досуг, самое наличие которого предполагает и доверие к личности и заботу о ее воспитании.

Достоевский всегда то с тревогой, то с надеждой, и все же больше с тревогой, чем с надеждой, глядялся в будущее. Слишком часто ему казалось, что гармоническое будущее может быть обеспечено только возвратом к старине, к давно утраченной патриархальности.

Достоевский ошибался: движение вспять и в социологии и в биологии равнозначно разрушению и смерти. Здесь обнаруживалась слабость его гения. Но Достоевский все же не удовлетворялся

настоящим, и ему не нравился, как он сам выражался, «лик мира сего». После стольких усилий, затраченных втуне для доказательства преимуществ застоя по сравнению с риском движения навстречу неизвестному будущему, все же оказывалось, что и он жаждал изменений, перемен в пользу подавленного, обездоленного, изнуренного большинства.

Достоевский мечтал о прекрасном, совершенном человеке, о гармонически и всесторонне развитой личности не как об одиночке, не как о меньшинстве, а как о нормальном состоянии и с е х людей, у в с е х народов, во к с Р м человечестве, И в этом, вопреки слабостям, утв е р ж д а л о с ь величие его гения.

Посещение мест в Сибири, где произошла постигшая Достоевского идейно-моральная катастрофа, весьма облегчает проникновение в причины и в смысл пережитого им надлома и с наглядной убедительностью неоспоримых материальных доводов показывает, в чем же заключается ответ на те вопросы, которые столь неотступно мучили Достоевского: путеводная звезда человечества светит не в утраченном прошлом, а в творимом будущем, в мире нет, да и не было застоя, в мире сформировались силы, обеспечивающие торжество социалистического и коммунистического идеала, правоту которого Достоевский в конечном итоге оказался не в состоянии опровергнуть ни для других, ни для себя.

Сибирь, которая, мнилась ему, сосредоточила, как в фокусе, всевозможные доказательства бесплодности устремлений к коренному улучшению о б ъ е к т и в н ы х условий существования, которая, казалось, оставляла открытым только один п у т ь — религиозной заботы о з а г р о б н о м спасении бесплотной души, становится одним из самых богатых, самых п е р с е к т и в н ы х краев мира.

Социалистическая Сибирь не уводит в глушь, в сторону, в ней сходятся самые важные, самые обнадеживающие исторические дороги, соединяющие передовой Запад с передовым Востоком. Не за горами время, когда в Сибири образуется новый мировой центр научных исследований.

И сибиряк коренным образом изменился. Смешно сравнивать «дерзание» об удвоении в течение года капитала, даже и превышающего триста рублей, с дерзанием, обуздывающим вечную зиму, величайшие реки, в о з д ы в а ю щ и м в н е о б ж и т о й п у с т ы н е цитадели человеческого благополучия и мощи.

Достоевский не дожил, но человечество в своем развитии дошло до таких ступеней, с которых видно; мечта о прекрасном демократическом человеке достижима. Вопреки предрассудкам Достоевского не религия, а наука и базирующиеся на ней промышленность и

з е м л е д е л и е , коллективистическая нравственность, материалистический идеал коммунизма преобразуют, совершенствуют и г а р м о н и з у ю т человека.

Мы и здесь в преддверии громадных достижений. Так или иначе, а человечество покончит с угрозой войны, высасывающей столько живительных соков, отвлекающей столько сил и средств от дела созидания для дела разрушения. Человеческий разум, показавший свое могущество в проникновении в тайны атома и космических пространств, обратится и к природе человека, преобразует и ее: удлинит жизнь человека, сохранив и даже увеличив его бодрость, энергию его деятельности; преодолет несовершенства и противоречия его биологии; еще повысит интенсивность его интеллектуальной деятельности и радостности его эмоций: найдет такие верные пути и прочные средства воспитательного воздействия на его волю, при которых, по словам Ленина, «избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусностей капиталистической эксплуатации, люди постепенно п р и н ы к н у т к соблюдению элементарных, веками известных, тысячекратно повторявшихся во всех прописях, правил общежития, к с о б л ю д е н и ю их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого а п п а р а т а Д Л Я принуждения...».

Буди, буди и буди, взывал Достоевский, тоскуя о совершенном устройстве человечества. Будет, будет и будет, отвечает ему современная история.

Люди вскрыли такие могущественные и грозные космические стихии, которым надо или разумно управиться, или же бросить им в жертву не только культуру, но, быть может, самое существование жизни на земле. Как ни мала наша планета, как ни много живет на ней людей, материальных и духовных б о г а т с т в накоплено на ней еще больше, так что при правильной организации хватит всего на всех, да еще по формуле: от каждого по способности, каждому по потребности.

Необходимость постоянных изменений и переустройств столь повелительно диктуется грандиозно р а з в и в ш и м и с я производительными силами, что двигаться вперед, к будущему, в кризисах, судорогах и к а т а к л и з м а х становится не только н е в ы г о д н ы м , но и просто невозможным. Достоевский н е м о г примириться с утратой нравственной цельности, нравственной органичности, присущей древней патриархальности. Он искал условий для установления (ему казалось, для восстановления) справедливой гармонии. Новую органичность, но уже не застоя, а непрерывного, стремительного и гармоничного движения и несет с собою к о м м у н и з м .